Самуил ЛУРЬЕ

ЧЕТЫРЕ ЭССЕ

Уважаемые читатели, это – республикация. Книжка, из которой взяты предлагаемые тексты, вышла ничтожным тиражом (Самуил Лурье. Такой способ понимать. Независимая фирма «Класс», Москва, 2007), и достать её трудно. А между тем книжка эта (автора которой «Зарубежные записки» имеют честь числить и своим постоянным автором) – в русской литературе событие замечательное, особенно по нашим не очень щедрым на изыски временам. Такой красоты, лёгкости, изящества слога, такого тонкого и ненавязчивого чувства юмора – при одновременной глубине, насыщенности (или, как сейчас говорят, иноформативности) текста – ещё поискать... да и найдёшь ли...

Редакция

Осенний романс

Певчих стрекоз не бывает, дорогая Герцогиня. Дедушка Крылов шутит. Позволяет себе поэтическую вольность – изображает как удобней воображению. Стрекоза вообще-то стрекочет, но не как сорока – скорей, как кузнечик, – короче сказать, в полете крылья у нее трепещут: от каждого – как будто ветер, и каждое – как бы парус, и воздух, растираемый крыльями, гнется и скрипит, – не ее это голос, понимаешь? Но ведь и муравьи не говорят!

На то и басня: вроде как цирк, только наоборот – там дрессировщик заставляет животных – нет! нет! конечно, не заставляет! – конечно же, воспитывает... он их так воспитывает, чтобы они подражали нам, людям, – то есть чтобы выказывали ум: катались на велосипедах, качались на качелях, танцевали, кланялись... Словом, чтобы хорошо себя вели, слушались укротителя.

Кстати! Дедушка Крылов думал, что смирные даже лучше умных – во всяком случае, нужней: за что, например, крестьянин любит свою лошадку? ведь с нею обмениваться мыслями не интересно, у нее небось все мысли только про еду – вот именно: как у – но это спрашивает Лиса, она ревнует Крестьянина к Лошади, отнюдь не прочь с ним дружить одна – не постигает, отчего ей, толковой, предпочитают существо столь ограниченного интеллекта.

– «Эх, кумушка, не в разуме тут сила!» –
Крестьянин отвечал: «Все это суета;
Цель у меня совсем не та:
Мне нужно, чтоб она меня возила,
Да слушалась кнута».

Вот какой земледелец несентиментальный, не то что некоторые. А кнут – это такой рычаг управления – вообще, мы отвлеклись.

Значит, так: цирковые звери – ученые, то есть послушные настолько, что представляются веселыми и умными – все как один. А звери басенные играют в человеческую глупость – причем обычно в глупость непослушных, от которой, по мнению многих, все несчастья, – и тут у каждого роль своя. Сочинитель басни назначает, кому водить – кто в природе смешней похож на человека, похожего на какой-нибудь изъян человеческого ума. Вот Стрекоза: состоит из одного легкомыслия – почти как мы с тобой. Это плохо – Стрекозу надо проучить – погубить или

хоть пристыдить, а еще лучше – и то и другое. В этом смысл игры, с этой целью дедушка Крылов и заманил Стрекозу (хоть она и не зверь) в басню и покумил с Муравьем.

Нет, настоящая, живая стрекоза – хорошая, обижать ее ни в коем случае нельзя. Вот, смотри, в энциклопедии написано: стрекозы истребляют комаров, мошек и других вредных насекомых, – *«чем приносят пользу».*

Я же говорю – игра. Дедушка Крылов, конечно, знал, что в природе нет ленивых, ни беспечных, и все, например, насекомые отдают всю жизнь и все силы борьбе за счастье своих потомков.

Другое дело, что одни – вредные, а другие – полезные: по крайней мере, так в энциклопедии. Между прочим, как раз про муравьев там ученые, ты только послушай, что пишут: *«Многие М. относятся к числу вредных насекомых, прежде всего потому, что они охраняют тлей – вредителей культурных растений; кроме того, значительное число видов М. являются вредителями садовых, полевых, технических культур, тепличных растений и пищевых запасов…»*

Видишь? Все дело в пищевых запасах! Муравей, когда ни увидишь его, непременно тащит в челюстях какую-нибудь дрянь – вероятно, съестное – а стрекоза питается своими комарами на лету! Порхает с пустыми крыльями, да еще знай стрекочет – вот и похожа на лентяйку – на какую-нибудь недальновидную тетеньку; одно слово – попрыгунья: лучшее биографическое время проводит в увлечениях, развлечениях, – нет чтобы консервировать на зиму овощи, копить сбережения на черный день, всю жизнь готовиться к старости, – брала бы пример с Муравья…

(*Чего дедушка Крылов, скорей всего, не знал – а дедушка Лафонтен и подавно, – как и я до сих пор, – это что европейские наши, типичные, дачные муравьи: озабоченные, целеустремленные, явно – крепкие хозяйственники… так вот, они – кто бы мог подумать? – все поголовно тоже как бы тетеньки – «недоразвитые в половом отношении самки», – сказано тут же в энциклопедии. Попроси наша Стрекоза убежища не у такой вот бескрылой рабочей особи, а у полноценного крылатого муравья – вдруг разговор вышел бы другой? Грамматический-то род непоправим, даром что у стрекоз – «вторичный копулятивный аппарат самцов высоко специализирован и не имеет аналогов среди насекомых»…*

Какие пустяки! не все ли равно? бюджет муравейника не предусматривает затрат на попрошаек, на разных там вынужденных переселенцев, – частной же собственности, как известно, у муравьев нет – –)

Прости, задумался. Итак, Стрекоза не умеет жить – плохо ей придется зимой – так ей и надо – сама виновата – пускай пропадает, – я шучу, шучу!

И дедушка Крылов шутит: он, конечно, спасет Стрекозу – допустим, приютит ее на зиму в Публичной библиотеке – там знаешь сколько мух!

А запасливый, но скаредный, неутомимый, но неумолимый, злорадный Муравей... Не бойся: никто его не обидит, – он же ни при чем, это Баснописец наделил его холодным сердцем, а сам по себе он симпатичный. Наверняка ему начислят достойную пенсию, как ветерану труда и санитару леса, – плюс консервы со склада, и опять же поголовье тлей... Счастливая зима предстоит Муравью!

(*Скитаясь по тесным, непроглядным, жарким коридорам, беззвучно приговаривать в такт шагам:*

– «Ты все пела? это дело:
Так поди же, попляши!»

Выпад – укол! Еще выпад – опять укол! Обманное движение: так поди же… – и последний укол, наповал! Фехтовальная фраза!

Как восхитительно разрисовывал этот мастер чужие мысли, ничьи, из неприкосновенного запаса толпы – в том числе, и с особенным наслаждением, главную – что уши выше лба не растут… Впрочем, это у старушки басни наследственный порок – Эзопов комплекс. Ядовитая, стремительная, тяжкоблистающая речь закована в градусник рабской морали.

Твердят наперебой, что Крылов был гораздо умней не только своих покровителей, почитателей, но и собственных басен. Кто его знает; людей он, кажется, презирал буквально до безумия: нарочно им внушал – неряшеством, так скажем, и обжорством – отвращение; даже, говорят, как-то в молодости попробовал нагишом поиграть на скрипке у открытого в Летний сад окна. А жизнь досталась долгая – проигрался, присмирел, притворился. Предпоследний придворный шут: а последним был Тютчев – но уже другого тона: в тунике античной не плясал. Крылову бас-

ни доставили славу и покой. Не сорвать черепахе панцирь, обгаженный столичными голубями – – –)

Нет никакой черепахи, сам не знаю, что бормочу. Крылов был очень хороший поэт, Герцогиня. Подрастешь – обследуй непременно свод басен, полюбуйся старинной работой: синтаксис и метр, даже в безнадежно трухлявых, – сплошной восторг. Что Змея практически всегда знаменует иностранца, что вольнодумствующий писатель опасней разбойника – не важно: благонадежность, возведенная в добродетель, равняется маразму, – а мы с Иваном Андреевичем жили в полицейское время… Прелестнейшие вещи, само собой, – в тени: «Мот и Ласточка», «Крестьянин и Смерть», – смотри не пропусти. Обещаешь?

Навеки твой

19 ноября 99

В пустыне, на берегу Тьмы

Из цикла «Трактаты для А.»

Начали! Строки Пятая и Шестая:

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила…

Один ли я вижу – и не галлюцинация ли: что его породила природа в день гнева степей? В день гнева жаждущих степей – гнева жажды, гнева от жажды. Изнемогая, негодуя на судьбу, то есть на свое местоположение – под самым Солнцем, – обезвоженная почва, прежде чем обмякнуть, превратиться в море бесплодного праха, каменеет и разражается, как проклятием, – исчадием. Извергает, изрыгает, исторгает из последних глубин вещество своей смерти – что-нибудь вроде мертвой воды, вязкой Аш-два-О из антимира – и рисует в раскаленном воздухе огромный восклицательный знак, одетый корой, покрытый листьями, истекающий влагой.

Бывают у Пушкина такие глубокие инверсии – вроде зеркального шифра – с обращенной симметрией. Помните?

Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

Или:

Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует…

По-моему, он так наверстывает опоздание мысли. Когда волнение слишком сильней слов. Ну что это – можно скрыть высокий ум под легким покрывалом безумной шалости? Старомодная, между нами говоря, сентенция, и с иностранным акцентом. Душа, палимая огнем, – вообще скучает по прохладительным напиткам. Вращая строку на вертикальной оси, Пушкин переходит как бы в ультразвук: таких интонаций голосу не взять (проверь, проверь), нас пронзает не текст, а восторг, пробежавший по тексту.

Так, по-моему, и тут: нить фразы сложена вдвое, а концы перекручены.

Это получилось не сразу. Сперва он написал:

Природа Африки моей
Его в день гнева породила…

И. конечно, проговорился о важном, но без пользы для хода темы. Кто же не знает, что африканская природа своенравна? Смотри лицейскую тетрадь по географии. Анчар, стало быть, сотворен в одну из пятниц на неделе, как случайная гримаса первобытного зла: ботаническая

химера. Примерно так, полагаю, и было напечатано в английском журнале: в лесах Малайзии встречается удивительное создание природы; туземцы приписывают *Упасу* дьявольские свойства, и проч. Журнал – чего-то там «Magazine» – читали в Малинниках барышни. А стихи получались – для детей, вроде того, что Африка ужасна – да, да, да! Не в Корнеи ли податься Чуковские?

«На днях было сборище у одного соседа; я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованныя ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюму и чернослива, и думала тихонько от них убраться. – Но Петр. Марк. их взбуторажил, он к ним прибежал: дети! дети! мать Вас обманывает – не ешьте чернослива, поезжайте с нею. Там будет Пушкин – он весь сахарный, а зад его яблочный; его разрежут и всем вам будет по кусочку – дети разревелись; Не хотим чернослива, хотим Пушкина – Нечего делать – их повезли, и они сбежались ко мне облизываясь – но увидев что я не сахарный а кожаный совсем опешили. Здесь очень много хорошеньких девчонок (или девиц, как приказывает звать Борис Михайлович) я с ними вожусь платонически, и от того толстею и поправляюсь в моем здаровьи – прощай, поцалуй себя в пупок если можешь».

Он переменил:

Природа пламенных степей
Его в день гнева породила...

Эпитет оказался бесцветным и неосязаемым. Окружающие слова сквозь него потянулись друг к дружке – и цепочка смыслов (наподобие молекулярной, надо полагать) распалась на природу степей и день гнева.

Это было хорошо, потому что бедняга глагол стушевался – как Станционный Смотритель (еще не написанный), – окончательно вжался в угол, – авось не оконфузит героиню явным фамильным сходством. (Вовсе бы его убрать, да вот беда – незаменим).

Это было еще потому хорошо, что День Гнева – словосочетание величавое и роскошное. Моцарт в нем гремит (тоже не написанный пока), соборный орган у святой Екатерины на Невском:

Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla
Teste David cum Sibylla.

Тот день, день гнева, развеет земное в золе, клянусь Давидом и Сивиллой. И так далее по тексту Фомы из Челано, тринадцатый век.

Пушкин, однако, латинским гимнам не учился.

Зато читал Ветхий Завет – в частности, пророков, – и у девятого из так называемых малых пророков, у Софонии (ах! нет у меня под рукой Библии на церковно-славянском! Обойдемся синодальным переводом):

Близок великий день Господа, близок – и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня. Горько возопиет тогда и самый храбрый!

День гнева – день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы,

День трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен.

И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их – как помет.

... Ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли.

Замечу к слову – незаурядная личность был этот Софония (жил и работал при царе Осии, между 642 и 611 до нашей, естественно, эры). Проницательный геополитик: предсказал крушение нескольких держав, – и его пророчества исполнились. А стихи – в манере Иосифа Бродского, меланхолически-отчетливой:

И прострет Он руку Свою на север – и уничтожит Ассура и обратит Ниневию в развалины, в место сухое как пустыня.

И покоиться будут среди нее стада и всякого рода животные; пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее; голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки.

Вот, чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: «я – и нет иного, кроме меня». Как он стал развалиною, логовищем для зверей! Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою.

Конфликт Создателя с цивилизацией – а природа, соблюдая строгий нейтралитет, остается в некотором даже выигрыше. Хотя не исключено, что производит мутантов (типа ежа голосистого), и Анчар, подобный атомному грибу, – действительно вечный памятник Дню Гнева. Что же, летим прямо в эпилог человеческой истории – полюбоваться, как потомки случайно уцелевших – вот этих самых вышеозначенных свистунов – одичав, добивают друг друга?

Сомнительно, чтобы Пушкин тратил время в Малинниках, Тверской губернии, Старицкого уезда, на подобные пустяки.

«Здесь думают, что я приехал набирать строфы в Онегина и стращают мною ребят, как букою. А я езжу по пороше, играю в вист по 8 гривен роберт [далее густо зачеркнуто – не Пушкиным – два-три слова] – и таким образом прилепляюсь к прелестям добродетели и гнушаюсь сетей порока – скажи это нашим дамам; я приеду к ним [здесь тоже несколько слов густо вымарано – не Пушкиным] – – полно. Я что то сегодня с тобою разоврался».

Нет, пророков оставим пока в покое: нас интересует не чем все кончится – но с чего все началось.

«И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла».

До центра оранжереи прародители человечества, как мы знаем, не доплелись. Кое-кто позаботился об этом специально: для того и лишил допуска (взамен выдав кожаную одежду и лицензию на размножение) – якобы за нарушение правил внутреннего распорядка, а на самом деле – дабы вселенная не превратилась в коммуналку. Ужасная приблизилась вдруг перспектива: Творцу препираться с тварью из-за мест общего пользования – причем без малейшей надежды на скончание времен!

«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно».

Стало быть, игрушка задумана была как заводная – или на батарейках – в общем, с ограниченным сроком годности. Выходит, предусмотрен был и акт смерти – то есть, конечно же, самоубийства, – разумеется, с применением оружия биологического (какого же еще?): действующего, например, как интеграл уже испытанных идей – дерева и змея.

Рай находился в Эдеме, на востоке. Сад Гесперид – на западе, в Ливии. Адам и его самка побрели к экватору.

Но все-таки не Бог сотворил Анчара! Или, во всяком случае, не вместе с прочей растительностью, не во Вторник, не сразу после неба и земли. Анчар проник в программу не ранее третьего дня – когда решалась проблема освещения:

«И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды…

… И увидел Бог, что это хорошо».

А впоследствии оказалось, что большее светило нагревает планету неравномерно. Астрофизика прижала биологию. Природа в борьбе с климатом водрузила над пустыней древо яда – как бы из воспламененного солнцем песка…

Не желчью ли рвет собаку, издыхающую от бешенства – от водобоязни?

Пушкин переменил «пламенных» на «жаждущих»:

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила

– и вся фраза перестроилась под тяжестью неустойчивого причастия, точно только и ждала: отозваться на внятное ей содроганье подлежащего.

Тень Апокалипсиса исчезла, связь роковых феноменов установилась – и проступил рисунок инверсии: гнев степей.

Пушкин, без сомнения, заметил – и рассердился, – что стих двоится в глазах. Вымарал было *гнев*. Переменил на *зной*:

… Его в день зноя породила…

Ведь в сущности-то сочинял про жару. Про жарищу в Африке – точно какой-нибудь в конце века Дядя Ваня.

Кошмар сосны о пальме (Гейне только что написал, да кто же читает по-немецки, – а Лермонтов переведет лет через тринадцать). Кому какая пустыня выпала. На версты и версты кругом – безжизненный прах: рыхлая вода. И пальма – или баобаб? – в общем, древо яда наведено морозом на оконном стекле. Как жарко поцелуй пылает на морозе! Как дева юная свежа в пыли снегов!

Дом стоял на берегу Тьмы, замерзшей реки: одноэтажный, с колоннами из корабельных сосен. Комнаты глубокие, потолки низкие. Днем превесело: три барышни, да еще мамаша. Но по ночам не до них, знаете ли:

«Тысяча благодарностей, сударыня, за внимание, которым Вы удостаиваете Вашего преданного слугу. Я бы непременно пришел к Вам – но ночь внезапно застала меня среди моих мечтаний. Здоровье мое удовлетворительно, насколько это возможно. Итак, до завтра, сударыня, и благоволите еще раз принять мою нежную благодарность».

На записке дата – 3 ноября. (Год, понятно, 1828). Под «Анчаром» – 9 ноября.

Диктатура якобы пролетариата распорядилась включить эти стихи в детскую диету исключительно ради Двадцать первой строки:

Но человека человек

– ну, и Двадцать второй.

За поразительное сходство с обрывком пропагандистского клише. Это же политическая формула несправедливости: «эксплуатация человека человеком». Знайте, милые крошки, что до 1917 года весь мир жил по этой формуле, на нашем лишь Архипелаге отмененной, – вот и Пушкин подтверждает.

Действительно – на Двадцать первой строке история Смерти переходит в историю Глупости. Но замечаешь это позже – в Двадцать третьей:

И раб послушно в путь потек...

Мы еще не понимаем, что в этой-то самой строке один из двоих и становится рабом (и этот новый статус подчеркнут аллитерацией), – но кого хоть однажды не царапнул вопрос: а чего это он такой послушный? трус или, наоборот, герой? Туда и тигр нейдет, – а он без колебаний – только потому что взглянули как-то особенно; подумаешь, взгляд...

Хотя это, наверное, так только сказано, для эффектной сестры таланта: властным взглядом. Что они, телепаты глухонемые? Наверняка маршрут экспедиции был заранее оговорен. А пресловутый взгляд сработал вроде стартового пистолета.

И «человека человек» – игра слов, риторический оборот, упрощенное уравнение. За спиной у типа, умеющего так убедительно смотреть, всегда маячит кто-нибудь еще. Как в «Сказке о рыбаке и рыбке»: на плечах топорики держат. Кремневые, не кремневые, – главное, чисто конкретные. Тут попробуй не потеки.

Но все эти наши предположения рассыпаются в предпоследней строфе:

Принес – и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

Чувствуете ли вы, какую насмешку, донельзя презрительную, подсказывает рифма? Нет? Скажите тогда: что позабыл этот царь или там князь под сводом шалаша? Зашел проведать умирающего раба, как демократ и гуманист? Или такое нетерпение любопытства: недоспал, не позавтракал, прибежал за образцами самолично, не доверяя никому, на властный взгляд больше не полагаясь?

Что ж, допустим. Ну, а путешественник-то наш отважно-послушный – как посмел отнести секретные материалы по месту жительства? Ведь несомненно, что властным взглядом однозначно

было предписано: доставить в собственные руки. Не явился тотчас по прибытии в резиденцию вождя? Это же бунт и преступная халатность, никаким плохим самочувствием не оправдать. Чаадаев за подобное промедление поплатился отставкой.

То есть в задаче спрашивается: чей шалаш – и где дворец?

Ответ: речь идет об одном и том же архитектурном сооружении. Дворец представляет собою хижину.

(В «Капитанской дочке», начатой лет через пять: *«Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец» сказал один из мужиков; – сейчас об вас доложим». Он вошел в избу»*.)

Каменный век, лыковая лачуга.

Такой, представьте, ад в шалаше.

Два несчастных дикаря. Один возомнил себя Робинзоном – и послал добровольного Пятницу за смертью. Став единственным обладателем боевого отравляющего вещества, сделался – на наших глазах, при нас, в этом самом шалаше, в этой самой строке – непобедимым владыкой. На полет стрелы вокруг – никого, а дальше – чуждые пределы. Этот пассионарный дебил – царь или там князь шести соток раскаленного песка на краю света, от Анчара верстах в двадцати: день туда, ночь – обратно.

Владыка – лыка.

Мы расстаемся навсегда после предпринятой им биологической атаки: успешно распространил смертоносную инфекцию. Неизбежно умрет, скажем, к вечеру: из прутьев Анчара веников не вяжут.

Так что жанр этого стихотворения – басня. О любви к рабству. О любви к гибели. Быть может, и просто – о любви. О жаре. О механизме распространения самиздата и вируса.

Пушкин в этом году все недомогал. Жаловался приятелям на «*нынешнее состоянье моего Благонамеренного, о коем можно сказать то-же, что было сказано о его печатном тезке: ей ей намерение благое, да исполнение плохое*». Винил некую Софью Остафьевну: за скверный, надо думать, санитарный контроль в столичном центре холостого досуга.

Ну, а в Третьем отделении стихи поняли, как всегда: как в советской школе. Почуяли клеветнические измышления, порочащие общественный и государственный строй. Извольте доказать, милостивый государь, что вы не антикрепостник, не правозащитник презренный! Пушкин возражал:

«… обвинения в применениях <sic> и подрозумениях не имеют ни границ ни оправданий, [ибо] если под [именем] слов. дерево будут разуметь конституцию, а под [именем] словом стрела <свободу> Самодержавие – – –».

Удивительней другое.

Как известно, неандертальцы, подобно динозаврам, вымерли без объяснения причин. Череп последнего найден в Замбии, в пещере, на уступе. Этот человек, по старинке именуемый родезийским, умер 30 000 лет назад, совсем один. И властный ли был у него взгляд – попробуй теперь узнай.

С тех пор в ход пошли кроманьонцы.

И то сказать: Адам был неудачная модель: лицо без подбородка, покатый лоб, выступающие надбровные дуги. Правда, объем мозга не уступал современному, и на закате палеолита неандертальский ВПК пришел к удачным разработкам: изобретение лука сильно способствовало прогрессу. Но в смысле внешности – кроманьонцы не в пример симпатичней: почти как мы.

Так вот: Пушкин, конечно же, про человека из этой пещеры Брокен-Хилл не знал и знать ни в коем случае не мог. Как же примерещилась ему ни с того ни с сего подобная история?

И отчего в этом стихотворении, таком на вид простодушном, звук столь необыкновенной силы: как бы голос трубы над пустыней, – верней, как бы трубный глас?

Черный цветок

– Стану я стрелять в такого дурака! – сказал, как бы секунданту, Лермонтов звонко, и это были его последние слова.

Дурак не принял подачу – не захотел догадаться, что самое время тоже какую-нибудь фамильярную грубость рявкнуть в ответ, чтобы все рассмеялись, – а там еще пара сердитых реплик – насчет старинных приятелей и кто паяс, а кто не понимает шуток, – и все-таки впредь настоятельно попрошу, – и ужинать, господа, поехали скорей, ведь ливень! Воображая себя Героем Нашего Времени и почему-то братом княжны Мери, дурак подошел поближе с воплем: «Стреляй! Стреляй!» – и спустил курок. Еще несколько минут Лермонтов, пробитый насквозь, молча содрогался в желтой грязи; приемы новейшей беллетристики позволяют допустить, что он успел завоевать европейскую славу и дважды, как Байрон, жениться, – и прочесть напечатанными все свои ненаписанные стихи.

А нам их не вообразить: кажется, что за последние три года он выговорил все, что хотел, – и так, что лучше нельзя.

Детские сюжеты, блеклые рифмы, громкие фразы – байронизм, православие, народность! – но никогда и нигде не звучала по-русски столь неистово и нежно высокопарная музыка обиды и свободы.

Положим, неуклюжий Полежаев тоже умирал от жалости к себе, – но тот рвался из рук палача по имени Рок, и хрипел: за что? – смертный пот последней надежды, жадные жесты деревянного ямба, стучит полковой барабан.

Также и некто Жозеф Делорм, страдая в нищете чахоткой, разводил в самодельных жардиньерках плакучие метафоры одиночества – и самые трогательные Лермонтов сорвал.

«...Нет, невидимая рука отстраняет меня от счастья; у меня словно клеймо на лбу, я не имею права соединять свою душу с другой. Прикажите оторванному от дерева листу, летящему по ветру и плывущему по волнам, пустить в землю корни и стать дубом! Вот я – такой мертвый лист. Еще какое-то время я буду катиться по земле, а потом размокну и сгнию.

Но ведь она-то, она же будет плакать, если ты промолчишь! Став женой другого, она будет всю жизнь сожалеть о тебе, ты сломаешь ее судьбу.

– Да, она с неделю поплачет от грусти и с досады; сначала она будет то краснеть, то бледнеть при упоминании моего имени, даже, наверное, невольно вздохнет, узнав о моей смерти. А следующей ее мыслью будет: „Как хорошо, что я вышла замуж за другого – он-то жив!“»

Это из дневника Делорма, последняя запись: в октябре 1828 молодой человек скончался. Его никогда и не было: его жизнь, смерть, стихи, прозу сочинил парижский студент медицины г-н Сент-Бёв, разыграв на романтическом клавире «заблуждения жалкой молодости, оставленной на произвол страстей», – как выразился в 1830 Пушкин, одобряя, впрочем, «необыкновенный талант, ярко отсвеченный странным выбором предметов». Сент-Бёв избавился таким способом от меланхолии, заодно и от бедности – а тяжба Делорма с судьбой была, в сущности, денежная (Полежаев, тот требовал от нее дворянского герба, – то есть оба искали покоя): вышел в люди, даже в литературные критики, стал впоследствии академик, сенатор, грузный толстяк, – словно и не отрывался от ветки родимой. Его метафоры оплатил жизнью – другой. Лермонтов предпочел последовать за Печориным.

Умный человек всего умней бывает лет в двадцать семь. Тогда он знает все – и что вечно любить невозможно.

Он только не владеет искусством обращения с дураками – и не желает его изучать, почитая презренным и скучным: *«надоело! Всё люди, такая тоска, хоть бы черти для смеха попадались».*

Зато изощряет стратегию против дур: *«ах!!! я ухаживаю и вслед за объяснением говорю дерзости; это еще забавляет меня немного, и хотя это не совсем ново, но по крайней мере встречается не часто!.. Вы подумаете, что за это меня гонят прочь... о, нет, совсем напротив... женщины уж так созданы...»*

Умный человек обычно думает о себе, что он очень умный, и что дураки его не любят именно за это (а значит – понимают! Не такие уж, выходит, они дураки!), лестная такая неприязнь его до поры до времени смешит.

А на самом деле дурак об умном полагает, что он просто наглый. В превосходящую силу чужого ума никто не верит, поэтому ненавидят не за нее; но когда спасение справедливости становится делом чести – совесть молчит.

Печорин это как будто понимал. И сумел перешутить Грушницкого. Лермонтову не удалось.

Есть такая реальность, в которой никто из нас не старше двадцати семи, – помните, Чехов в повести «Три года» писал про это? – и каждый умен, и каждый лежит в долине Дагестана, убитый, как дурак, другим каким-нибудь тоже дураком, – с догорающей в мозгу мыслью о ка-

кой-то не совсем дуре далеко за горизонтом – это очень важно, видите ли: заплачет она или нет?

Ты не должна любить другого,
Нет, не должна,
Ты мертвецу, святыней слова,
Обручена.

И другая меланхолическая мечта: от недостойной роли в бессмысленном фарсе отказаться – бросить свой текст злому режиссеру в лицо! – а из театра все-таки не уходить – затаиться в оркестровой яме на всю вечность, любуясь декорацией, – существовать не страдая, бесплатно, и чтобы темный дуб склонялся и шумел.

Как смешна эта гордыня в существе, подобном герою «Бедных людей»!

«Тут же подумал я, Варенька, что и мы, люди, живущие в заботе и треволнении, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастию небесных птиц, – ну, и остальное все такое же, сему подобное... Я к тому пишу, что ведь разные бывают мечтания, маточка... А впрочем, я это все взял из книжки. Там сочинитель обнаруживает такое же желание в стишках и пишет –

Зачем я не птица, не хищная птица!

Ну и т.д. Там и еще есть разные мысли, да Бог с ними!»

...Герб русских Лермонтовых такой: «В щите, имеющем золотое поле, находится черное стропило с тремя на нем золотыми четвероугольниками, а под стропилом черный цветок. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою короною. Намет на щите золотой, подложенный красным; внизу щита девиз: “Sors mea – Jesus“...».

Жребий мой – Иисус... Лермонтов, между прочим, не знал своего герба – ни девиза. Тосковал по земному отцу, а с небесным шутил, как с Мартыновым, – презрительно:

Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил!

Мартынов – устроил.

Есть кой-какие основания подозревать, что это сам адресат стихотворения за такую игру слов сослал вроде бы Лермонтова в свиту демона, им воспетого: дескать, не нравилось виолончелью – побудь фаготом! – правда, зачел ему срок предварительного заключения:

«На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьева-Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотою цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. Он уперся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он не интересовался землею под собою, он думал о чем-то своем, летя рядом с Воландом.

– Почему он так изменился? – спросила тихо Маргарита под свист ветра у Воланда.

– Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил, – ответил Воланд, поворачивая к Маргарите свое лицо с тихо горящим глазом, – его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл».

Но лично я не допускаю, что Автор мироздания злопамятен и щекотлив, – и не понимает поэтов и не любит стихов, и не догадывается, какой тяжестью ложится на юное сердце вся эта красота: серебро и лазурь, и ослепительно темная зелень – превращаясь в речь, слишком не похожую на пошлую участь: в коросте подпоручика с казенной подорожной существовать среди звезд ничуть не забавно – соавтору невыносимо пресмыкаться в персонажах – легче умереть от руки дурака.

Смерть, как приедем, подержит мне стремя;
Слезу и сдерну с лица я забрало!

Самоучитель трагической игры

– Я, может быть, и сама гордая, нужды нет, что бесстыдница! Ты меня совершенством давеча называл; хорошо совершенство, что из одной похвальбы, что миллион и княжество растоптала, в трущобу идет!.. А теперь я гулять хочу, я ведь уличная! Я десять лет в тюрьме просидела, теперь мое счастье!

Достоевский. «Идиот»

Александр Блок почти всю жизнь провел как поэт – как почти никто из поэтов: как гимназист – каникулы. Ни дня без прогулки на свежем воздухе: куда глаза глядят или облюбовав заранее забаву – скажем, в луна-парке американские горы; а то в Стрельну– купаться в осеннем пруду; потом в синема; или вот:

Открыт паноптикум печальный –

это кабинет восковых фигур на Невском, 86 –

Один, другой и третий год.

Дата под стихотворением – 16 декабря 1907.

Толпою пьяной и нахальной
Спешим...

Тут внезапная неясность: то ли есть причина посетить данный очаг культуры немедленно – то ли это, наоборот, обрыдлый такой обряд установился и соблюдается все эти годы, примерно с Кровавого воскресенья; коротаем, так сказать, войну и революцию в нескончаемой мрачной процессии, в дурной компании...

Тем заметней вызывающая поза глагола – и отталкивающее первое лицо подозрительного множественного числа. Инверсия классическая: толпой угрюмою и скоро позабытой... Но эпитеты невозможные, в лирике неслыханные; оглушительно хлесткая рифма обещает скандал; что-то будет?

(*«Некоторые входили так, как были на улице, в пальто и в шубах. Совсем п ь я н ы х, впрочем, не было; зато все казались сильно навеселе...»* Это шуты, постоянно сопутствующие Рогожину – и Мышкину – в романе «Идиот». Помните, как они являются в квартиру Настасьи Филипповны? *«Великолепное убранство первых двух комнат... редкая мебель, картины, огромная статуя Венеры – все это произвело на них неотразимое впечатление почтения и чуть ли даже не страха. Это не помешало, конечно, им всем, мало-помалу и с н а х а л ь н ы м любопытством... протесниться за Рогожиным в гостиную...»*)

...В гробу царица ждет.

То есть восковая статуя полуголой молодой женщины; это якобы Клеопатра, последняя царица Египта; изображен момент самоубийства: Клеопатра прижимает к груди змею; змея сделана из резины; приспособлены какие-то чудеса техники, так что грудь как бы дышит, а змея через равные промежутки времени как бы жалит. Короче говоря, зрелище – на любителя. И передано стихами почти наивными, – а магическую игру согласных в шелест и звон – а также глубину и протяженность гласных – легко принять за побочный эффект.

Она лежит в гробу стеклянном
И не мертва и не жива,
А люди шепчут неустанно
О ней бесстыдные слова,

Она раскинулась лениво –
Навек забыть, навек уснуть...
Змея легко, неторопливо
Ей жалит восковую грудь...

И вдруг, в музейной этой тишине, опять неприличная выходка – ни с того ни с сего:

Я сам, позорный и продажный,
С кругами синими у глаз, – – –

Ничего подобного никто в русской литературе никогда не произносил. Отвага беспримерная, скоро ее переймут Есенин и другие. Но как навязчиво неуместен здесь этот автопортрет. И к чему эти подробности о подлежащем, если сказуемое столь незначительно:

Пришел взглянуть на профиль важный,
На воск, открытый напоказ...

Ну, пришел и пришел. Сообщение самое невинное – и торжественный тон просто нелеп. Как если бы моральная неустойчивость абсолютно исключала интерес к подобным зрелищам. Судя по следующей строфе – скорее наоборот. Синтаксис там невнятный, но все же позволяет догадаться, что изображаемый культпоход – отнюдь не первый:

Тебя рассматривает каждый,
Но если б гроб твой не был пуст,
Я услыхал бы не однажды
Надменный вздох истлевших уст:

Несмотря ни на что, фонетика волшебная. Ведь это вздор – *вздох уст*, – а строка действительно вздыхает – и за ней строфа:

«Кадите мне. Цветы рассыпьте.
Я в незапамятных веках
Была царицею в Египте.
Теперь я – воск. Я тлен. Я прах».

Ария не оригинальная – тотчас видно, что в Петербург так называемого «Серебряного века» царица Египта прибыла из Москвы, где Валерий Брюсов, прочитав роман Райдера Хаггарда «Клеопатра», сочинил ровно восемь лет назад одноименное стихотворение: *«Я – Клеопатра, я была царица, В Египте правила восьмнадцать лет. Погиб и вечный Рим, Лагидов нет, Мой прах несчастный не хранит гробница»* – и так далее. Ничего не поделаешь, так проходит земная слава.

Но Блок отвечает монологом в духе А. И. Поприщина:

«Царица! Я пленен тобою!
Я был в Египте лишь рабом,
А ныне суждено судьбою
Мне быть поэтом и царем!

Ты видишь ли теперь из гроба,
Что Русь, как Рим, пьяна тобой?
Что я и Цезарь будем оба
В веках равны перед судьбой?»

Не пародия ли тут, в самом деле, на стихи Валерия Яковлевича, дорогого мэтра? («Стихи Ваши – всегда со мной», – сказано ему в письме, отправленном несколько дней назад.) Цезарь

ведь – его герой. Конечно, и раб – из его же баллады (*«Я – раб, и был рабом покорным Прекраснейшей из всех цариц...»*)[1].

Но тогда стихотворение Блока – просто сатира с оттенком пасквиля. Нет, непохоже: слишком невесело. И потом, эта Русь, пьяная Клеопатрой... У Брюсова тоже безвкусицы хоть отбавляй, однако совсем в другом роде. Но дочитаем:

Замолк. Смотрю. Она не слышит.
Но грудь колышется едва
И за прозрачной тканью дышит...
И слышу тихие слова:

«Тогда я исторгала грозы.
Теперь исторгну жгучей всех
У пьяного поэта – слезы,
У пьяной проститутки – смех».

Стихи небрежные (исторгну жгучей всех – молчи, грамматика!), ну и пусть – зато предчувствие скандала сбывается. Поэт поставлен на одну ступень с проституткой, внезапно появившейся из нахальной толпы. Пьяный плачет – продажная смеется. К этому скоплению взрывных все и шло. Провокационные эпитеты совпали, как сходится пасьянс. Автопортрет с пощечиной, прыжок паяца; пьеса для балаганчика в паноптикуме печальном. Но Клеопатра при чем?

Блока случайно видели там, на Невском, 86. «Меня удивило, – повествует свидетель, – как понуро и мрачно он стоит возле восковой полулежащей царицы...» Следует рассказ про обступивших механическую куклу веселых похабных картузников. И как рефрен: «Блок смотрел на нее оцепенело и скорбно...»

Вообще-то бывает, как сказано в одном стихотворении Анненского (тоже 1907 г., тоже поздняя осень), *бывает такое небо, такая игра лучей, что сердцу обида куклы обиды своей жалчей...*

Но эта, восковая, в прозрачном гробу – была буквальная, грубо материализованная цитата из «Стихов о Прекрасной Даме». Судьба в который раз напоминала Блоку, что когда-то, не так давно, он был не просто поэт, но единственный в мире обладатель самой важной в мире тайны.

Настоящее имя Прекрасной Дамы было – Ты и обозначало Разгадку Всего, недоступную словам, как смерть от счастья, как любовь богини.

Неизвестно, что это было – космическое прельщение, литературная галлюцинация... Швейцарский ученый Карл Юнг пишет об участившихся в двадцатом веке явлениях Богоматери как о фактах несомненных. Дескать, это Коллективное Бессознательное играет с человеком. Салтыков-Щедрин в свое время трактовал подобные состояния проще:

«Юноша с пылким, но рано развращенным воображением испытывает иногда нечто подобное: он сидит над книжкой, а перед глазами его воочию мелькает фантастическая женщина; он очень хорошо знает, что женщины тут никакой нет, а есть латинская грамматика, но в то же время чувствует, что в жилах его закипает кровь... А рот у него облепили мухи», – присовокупляет злобный Салтыков – и попадает пальцем в небо. По крайней мере Блок был в высшей степени аккуратный человек.

«От мух советую, – писал он Евгению Иванову в 1906 году, – *купить пачку бумажек «Tanglefoot» – к ним мухи прилипают, и тогда ощущаешь нечаянную радость от их страданий; избиению их, поджиганию свечкой и прочим истязаниям я также посвящаю немало времени».*

Не важно, по каким причинам и как перепутались мечты и обстоятельства.

Важно, что видения повторялись все реже, потом вдруг совсем прекратились.

Эту утрату Блок оплакивал как Ее смерть.

Ты покоишься в белом гробу,
Ты с улыбкой зовешь: не буди.

[1] Брюсова забудут раньше, чем Блока, — и, чего доброго, какой-нибудь юноша веселый в грядущем скажет: знаем, знаем, кто томился у древних египтян в рабстве... эге-ге! Впрочем, всегда найдется и доцент — вступиться: поклеп! Наш лирик — без изъяна, даже страдал юдофобией, вообще был весь дитя добра и света.

Золотистые пряди на лбу.
Золотой образок на груди.

Я отпраздновал светлую смерть,
Прикоснувшись к руке восковой...

С тех пор этот вальс в нем не умолкал. В чаду алкоголя и пошлости словно кто-то дразнил Блока призраком забытой тайны; вот как в этом кабинете восковых фигур – или годом раньше в привокзальном ресторане... Вы думаете: случайность? Нет – хохот из бездны. Вы думаете: мания преследования? Нет – символизм.

Оставалось: притворно смеясь над разбитыми иллюзиями, отомстить за них собственной гибелью – то есть моральным падением.

«Л ю б л ю г и б е л ь, любил ее искони и остался при этой любви... Ведь вся история моего внутреннего развития "напророчена" в "Стихах о Прекрасной Даме"».

Иначе говоря: отняли любимую куклу – тем хуже для кукол нелюбимых.

Гибнуть, катаясь на тройках, – словно Настасья Филипповна... Убивать себя пьянством и так называемой страстью – истерикой похоти – любовью без любви.

И стало все равно, какие
Лобзать уста, ласкать плеча,
В какие улицы глухие
Гнать удалого лихача...

И все равно, чей вздох, чей шепот, –
Быть может, здесь уже не ты...
Лишь скакуна неровный топот,
Как бы с далекой высоты...

Так – сведены с ума мгновеньем –
Мы отдавались вновь и вновь,
Гордясь своим уничтоженьем,
Твоим превратностям, любовь!

При оформлении в советскую литературу все это Блоку засчитали как протест против реального капитализма. В общем, это верно. Как замечал по сходному поводу упомянутый Салтыков: «...протестуют потому, что сердца своего унять не в силах. "Погоди ты у меня, – говорила одна барыня (она была тогда беременна) временнообязанному своему лакею, – вот я от твоей грубости выкину, так тебя сошлют, мерзавца, в Сибирь!" И говорила это барыня искренно, и желала, ох, желала она выкинуть! чтобы потом иметь право написать, что "от огорчения, причиненного ей грубостью подлеца Ваньки, изныл внутри у ее ребенок". Быть может, даже по ночам ей мерещилось, что вот она выкидывает (конечно, без особенно скверных последствий), что Ваньку за это судят и ссылают в Сибирь...»

Я гибну – так тебе и надо! – плачь, низкая действительность, плачь!

И страсти таинство свершая,
И поднимаясь над землей,
Я видел, как идет другая
На ложе страсти роковой...

И те же ласки, те же речи,
Постылый трепет жадных уст...

Участь, что и говорить, трагическая. Как тяжело ходить среди людей и притворяться не погибшим в таких условиях. Но именно в этой тональности: надежды нет, и не нужно счастья, и только из гордости терпишь унизительную необходимость отвечать на поцелуи, а заодно и всю

мировую чепуху, – стихи звучат как следует, как диктант Музы. Долг перед Искусством и Родиной велит идти навстречу Судьбе до конца: в цирк, в ресторан, в дом терпимости. И вечный бой! Покой нам только снится. Вы говорите: маменькин сынок? Нет – искуситель, демон, падший ангел!

«Кто я – она не знает. Когда я говорил ей о страсти и смерти, она сначала громко хохотала, а потом глубоко задумалась. Женским умом и чувством, в сущности, она уже поверила всему, поверит и остальному, если бы я захотел. Моя система – превращения плоских профессионалок на три часа в женщин страстных и нежных – опять торжествует».

«Я опять на прежнем – самом "уютном" месте в мире – ибо ем третью дюжину устриц и пью третью полбутылку Ш а б л и»

«Я обедал в Белоострове, потом сидел над темнеющим морем в Сестрорецком курорте. Мир стал казаться новее, мысль о гибели стала подлинней, ярче ("подтачивающая мысль") – от моря, от сосен, от заката».

Такая жизнь ожесточает сердце. Приступы страха, приступы злобы, повсюду мерещатся угрожающие взгляды, торжествующие ухмылки. Сжигает ненависть к благополучным...

Если человека несказанно радует известие о катастрофе «Титаника» (*«есть еще океан!»*) – через несколько лет ему, конечно, Февральская революция в России покажется пресной, постной. Чтó значит сжиться с мыслью о личной гибели! – чужую допускаешь (в теории) хладнокровно: *«...нисколько не удивлюсь, если (хотя и не очень скоро) народ, умный, спокойный и понимающий то, чего интеллигенции не понять (а именно – с с о ц и а л и с т и ч е с к о й психологией, совершенно, диаметрально другой), начнет так же спокойно и величаво вешать и грабить интеллигентов (для водворения порядка, для того чтобы очистить от мусора мозг страны)...»*

Как известно, тогдашний Цезарь вскоре воспроизвел эту мысль поэта – слово в слово (чуть резче: «это не мозг, а – –»). И осуществил его предчувствия. Поэт действительно погиб. А Цезарь помещен в паноптикум печальный.